

«Петербургский дневник» представляет

Иван Леонтьев

Не избегая острых, трагических моментов, автор остается продолжателем лучших традиций русской классической литературы, утверждая в человеке доброту, любовь и сострадание

Тяжело ковалась Победа



Писатели на войне, писатели о войне

Писатели на войне, писатели о войне

Иван Леонтьев

Тяжело ковалась Победа

«Информационно-издательский центр
Правительства Санкт-Петербурга»

2015

УДК 94(47).084.8
ББК 63.3(2)622

Леонтьев И. М.

Тяжело ковалась Победа / И. М. Леонтьев — «Информационно-издательский центр Правительства Санкт-Петербурга»,
2015 — (Писатели на войне, писатели о войне)

ISBN 978-5-91498-066-2

В повестях «Крест», «После войны», «Свой человек в столице», «Песня над озером» автор показывает трудовой и боевой вклад народа в Победу над фашизмом. В рассказах «Смертию смерть поправ», «Товарняки шли на проход», «Женихи» нарисована устойчиво сложная обстановка в стране. В годы Великой Отечественной войны гражданин и воин переживали за исход любого сражения, как за личную судьбу, ловя каждое слово сводки Совинформбюро, думая о близких, – волновались, находясь в одном сильно напряженном биополе страны. Все для фронта! Все для Победы! Это был один лозунг на все годы.

УДК 94(47).084.8

ББК 63.3(2)622

ISBN 978-5-91498-066-2

© Леонтьев И. М., 2015

© Информационно-издательский центр
Правительства Санкт-Петербурга, 2015

Содержание

О ПРОЗЕ ИВАНА ЛЕОНТЬЕВА	5
КРЕСТ	6
Конец ознакомительного фрагмента.	15

Иван Леонтьев

Тяжело ковалась Победа

О ПРОЗЕ ИВАНА ЛЕОНТЬЕВА

Иван Леонтьев – один из самобытных, даровитых ленинградских, петербургских писателей – не только зоркий, приметливый свидетель своей эпохи, но и непосредственный участник главных событий нашего времени. Подросток, студент Ленинградского техникума точной механики и оптики в эвакуации, солдат срочной службы, студент института, инженер-строитель в системе создания ракетно-стратегического щита Родины... И около 20 лет мирного созидательного труда на стройках Ленинграда... Все это легло в основу творчества писателя, придав пластичное единство неоспоримой жизненной правды и высокой художественности, когда ковалась тяжелейшая победа над фашизмом.

Не избегая острых, трагических моментов, автор погружает читателя в невероятные условия военной поры: «Смертию смерть поправ», «Товарняки шли на проход», «Женихи». Или показывает тяжелые годы восстановления народного хозяйства: «После войны», «Свой человек в столице». Автор остается продолжателем лучших традиций русской классической литературы, утверждая в человеке доброту, любовь и сострадание.

Иван Леонтьев имеет свою тему, собственный стиль, свой язык – образный, емкий, точно очерчивающий суть действующих лиц в их поступках, устремлениях, поисках смысла жизни. Не погружаясь в мелочи, детали быта, но и не избегая существенных примет времени, Леонтьев показывает внутренний мир героев во всей полноте бытия, проецирует прошлое на современную жизнь, подвигает читателя к размышлениям о дне грядущем. Это философская проза в ее лучшем художественно-образном исполнении, проникающая корнями в глубинные пласты народной жизни.

Иван Леонтьев имеет своих читателей среди представителей не только старшего поколения, но и молодежи, вступающей в жизнь. Уверен, что его рассказы останутся в ряду лучших образцов русской литературы нового времени.

Александр Скоков, лауреат премии правительства Санкт-Петербурга в области литературы, член высшего творческого совета Союза писателей РФ

КРЕСТ

Повесть

Маленькая извилистая речонка течет в густых зарослях ивняка. Вода в ней холодная, а от густой тени кажется черной, поэтому ее и прозвали Черной речкой.

В засушливые годы она пересыхает, и остаются только небольшие ямы с водой, где скапливается вся рыба. Когда такое случается, то ребяташки, прихватив с собой решета, бегают по ямам и мутят ногами воду, отчего рыба высовывается, а они ловко подхватывают ее и выбрасывают на сухое место.

Вдоль Черной речки растянулась деревня Зимовье. Небольшая ее часть называется Старое Зимовье, а основная деревня, вытянувшаяся вдоль правого берега, называется Новое Зимовье.

Старое Зимовье упирается в холм. В этом месте через речку построен мост. На холме стоят тридцать берез, словно ротонда с зеленым куполом и белыми колоннами, а среди этой благоухающей роскоши стоит старый почерневший крест.

Летом в деревню приезжают городские – выходцы из этой же деревни. Они оставляют детей дедушкам и бабушкам, а осенью забирают их. К моей теще приезжаем мы да ее сын с женой и дочкой.

Молоко нам дает баба Маня, высокая жилистая старуха, какая-то моя родственница. Она носит длинную широкую юбку со сборками на поясе, ситцевую кофту, на голове платок топориком торчит, а под подбородком завязан двойным узлом.

Живет она в Старом Зимовье, наискосок от детского сада. Баба Маня – мировой судья. Если чей-то мужик загулял или председатель кого обидел, сразу бегут к ней. Она берет свою суковатую палку и направляется вслед за посланцем. И женщинам мало не бывает, если какая начнет погуливать. Так осрамит, что потом провинившаяся долго глаза прячет. Если кому квашеная капуста или соленые огурцы среди лета понадобились, или сушеная малина в зимнюю стужу, тоже бегут к бабе Мане. Она все даст, а если пошлют дите малое, то еще по головке погладит и благословит: «Иди с Богом, дитятко».

На прошлой неделе наш сосед-тракторист напился и начал бить жену, приревновав ее не то ко мне, не то к брату жены моей. Мальчонка ихний прямиком пустился к бабе Мане. Она вскорости явилась, огрела Сергея палкой, и тот враз протрезвел, прощения просить стал: бес, видишь ли, его попутал.

Характер старухи не из лучших, но все – от мала до велика – зовут ее баба Маня: и моя теща, и жена, и дочка туда же – баба Маня.

Несколько лет подряд приезжаю я сюда в отпуск, а старуха все так и остается для меня загадкой.

Перед отъездом теща попросила меня сменить подгнивший крест на могиле мужа бабы Мани, что на холме среди берез. Она показала мне бревно, рассказала, какой крест надо поставить. Потом я сходил на холм, все замерил, взял топор, ножовку и принялся за дело. Ближе к вечеру я отнес заготовки на холм, вытащил старый крест, установил новый, затрамбовал землю и сел отдохнуть.

Курил, смотрел на лесистый горизонт, где опускалось солнце... Из трубы нашего дома поднимался столб дыма: вначале он высоко шел вверх, потом плыл над усадьбой тракториста, распускался веером над лесом и растворялся в вечерней синеве. Нина, жена Сергея, в коротеньком платьице и резиновых сапогах долго бегала по двору с хворостиной, загоня свинью и подвинка, отчего куры с кудахтаньем разлетались из-под ног. По деревне на мотоцикле пронесся бригадир, поднимая пыль, как дымовую завесу. Из дальнего конца Нового Зимовья раз-

далось мычание коров и послышался звон боталов. Деревня ожила: загремели ведра, кланяясь, заскрипели колодезные журавли, чаще и громче затывкали собаки, и от всей этой обыденности повеяло прелестью вековой жизни. В это время я услышал, как кто-то кряхтит. Поворачиваюсь, а это баба Маня: посмотрела на меня, разровняла скрюченными пальцами, как граблями, землю возле креста, прошептала что-то и пошла, сказав:

– Дай Бог тебе здоровья, сынок.

Я вскочил, забрал свой инструмент и следом за ней стал спускаться, говоря:

– Баба Маня, а почему именно тридцать берез вы посадили? И почему ваш муж здесь похоронен, а не на кладбище?

– Долго сказывать, сынок, – ответила старуха, не останавливаясь.

Я молча шел за ней до ее дома. Старуха не остановила меня.

В избе было сумрачно, углы чернели, а окна холодно синели, залитые лунным светом. Я огляделся: большая русская печь, деревянная кровать, покрытая лоскутным ватным одеялом, в углу, под потолком, на божнице иконы. Вдоль всей стены, чуть ниже окон, отсвечивала широкая лавка, а перед ней, почти посередине избы – стол с тремя табуретками.

– Садись, сынок, раз пришел. Чаевничать будем, – сказала баба Маня, вытаскивая из-за печки самовар на противне.

Я прошел и сел на табуретку к столу. Старуха налила воды в самовар, взяла с загнетки лучины, переломила их с треском, подожгла, подождала, пока они разгорятся, и пучком опустила в самоварную трубу, потом набросала туда древесного угля из ведерка, качнула несколько раз старым сапогом, надела вместо него легкое жестяное колено, чтобы дым тянуло в трубу русской печки, и стала собирать на стол: принесла полбуханки сельповского хлеба, кусковой сахар с щипцами, лепешку домашнего масла, завернутого в просоленную тряпицу, и баночку смородинового варенья...

– Подыми-ка, сынок, самовар-то, да давай чай пить, – баба Маня повернула в патроне электрическую лампочку, и комната наполнилась слабым красноватым светом.

Я приготовился слушать.

– С чего те начать-то, сынок?.. Жизнь, она ведь коротка, когда уже прожита. А пока живешь, бьешься, все торопишь, все быстрее хошь, все мнится, что тихо больно времечко идет, – баба Маня замолчала, с трудом кусая одной стороной рта черствый хлеб, тонко намазанный сливочным маслом с капельками сывотки, долго валяла его во рту со стороны на сторону и запивала чаем, держа блюдце на растопыренных пальцах. – Как уж оно тебе и обсказать-то, сынок? – сама у себя спрашивала баба Маня. – Прикипела я к Петру с детства, когда еще девчоночкой была. Защищал он меня от Федьки – паразита мордатого, не тем будь помянут. И смерть ему такая же досталась, что не приведи Господь: мать топором и зарубила. Домина их и по сию пору стоит, – повернулась старуха к окну, – наискосок нашего-то. Нынче там садик для ребятшек. Сам Мордюков уж больно матерый был. Такой рыжий мужичина, что твой медведь. И Федька в родителя пошел. Он на два года был старше Пети, а по виду – намного. Федор-то был и выше, и шире, но Петя зато отчаянностью брал. Играем это мы, бывало, на Берди, где и ноне ребятня летом скапливается, с Дуськой Колесовой – младшей сестрой Марфуши, той, что позднее из-за этого же Федьки повесилась, лепим из песка калачи да пироги, что дома к праздникам пекли, а тут и Федька. Идет ведь, паразит, и, как назло, наступит ножищей – раздавит, да еще и пяткой повернет как-то с вывертом. Вот ведь сколь был не зловерный. Горе тут такое брало – ревом от обиды. Попервости я все Максима, брата своего, звала. А он, видать, побаивался его. Гляжу, у Максима глаза от злости чуть не лопаются, а с места не двигается – боится Федьку. Только на меня еще прикрикнет: «Че реवेशь? Новые ладь!» А потом вот Петька, дружок Максима, и стал налетать на Федьку.

Подскочит это к нему, а сам росточком-то ниже его, грудь выпятит, головушку этак запрокинет и подступает, да еще кулачонки отставит за спину и напирает на него, как кочет. И на

вот тебе – Федька стал меньше озоровать. С этого все и повелось. Ну уж а когда я девкой стала, Петя как жених ходил.

Родитель мой, царство ему небесное, чего-то недолюбливал его. Мне-то было тогда невдомек. Это уж я потом узнала, как Марфуша повесилась, что он вроде бы как за Федьку Мордюкова выдать меня метил. Жили они богато: восемь-десять коров держали, с полсотни овец, свиной десятка полтора да еще пять лошадей. А семья-то была всего ничего: сами двое да два сына, Федька вот да Ленька горбатенький, маленький, беленький, как есть в мамочку родимую.

У них завсегда какой-нибудь парень и девка в работниках ходили. Ну а на лето, косить да метать, или осенью на молотьбу – это уж подряжали. Масло пудами в Новониколаевск возили, нынешний Новосибирск. Шерсть местным пимокатам продавали, а как реки станут, так свиной да овец, а то еще пару коров забьют и тушами на трех-четырех подводах обозом и везут.

Так вот, мы с Петей о свадьбе чаяли, а родитель с Мордюковым меж собой сговаривались. У каждого свои думки были. Век бы родитель мой не признал Петю, кабы он Максима от смерти не спас. Не мог он простить ему драку с Федькой. Это когда я у Мордюковых в работницах была, как Марфуша-то повесилась.

Федька все меня одаривал. Как из города, бывало, приедут, мясо, масло продадут, так он и летит ко мне. Нахальная рожа-то, так ему все едино. Все что-нибудь да и несет. Ну, когда отвернешься, а когда и возьмешь, чего уж тут таить. Девка, оно и есть девка, каждой приятно подарочки-то получать. А того не ведала, куда дело клонится.

Сережки он как-то раз привез. Я их увидела и заплясала от радости, рука сама так и потянулась. Он тут же меня и сгреб – поцеловал. Я только о сережках с красными камешками думала, а он, видать, о своем. Ясное дело, что у молодого мужика на уме.

Федька раньше Марфу так же соблазнял – подарочками-то. Это пока все было шито-крыто, так, хихоньки да хахоньки. В одежонке ходила – прятала. А в одном платьишке летом осталась – все на виду. Тут уж хошь не хошь все покажешь.

Отец ее тогда к Мордюкову ходил: видать, пригрозил... Посулиться-то Мордюковы посулились, а со свадьбой не торопились. Федька и морду от нее воротил – дескать, не его это дело. Так время и шло. А Марфуша годить уже не могла. В канун Петрова дня, кажись, она и родила.

Народишко ведь всякий – подсмеиваться начали. Около месяца она еще походила сама не своя, вроде как свадьбу ждала, а потом не выдержала... В самый разгар сенокоса повесилась, у них же в амбаре. Девчоночку еще перед этим покормила да убаюкала.

Они тут и забегали: Мордюков годовалого бычка заколол, Федька куль муки притащил. И всю самогонку у Анисьи скупили – неделю баба гнала. К слову сказать, тут уж они не считались. И сами пришли к Колесовым – вроде как все честь по чести. Митрий уж больно жалел сестру. Насосался самогонки и согнулся над столом, все топор у ног держал. Парни тогда еще хотели Федьку прибить.

Мордюков, видать, смекнул, что беда зреет, и упредил: взял сына за космы, вывел его из-за стола, всыпал ему как следно быть да со двора и вытолкал. А сам ребеночка из люльки взял, прижал к груди и сказал, ровно сейчас слышу: «Не допущу, чтоб дите сиротой осталось! Ежелив такое дело, пушай она будет Мордюковой Настей». И ушел с ней вслед за Федькой.

Тут злость у всех и схлынула. Митрий и топор на землю бросил. Цельную неделю после этого к Анисье ходил – самогонкой горе заливал. И родители убивались, беда така... Вот ведь до чего хитрый был мужик.

Мордючиха тоже была не промах. Упаси Бог, если что-нибудь заметит. Маленькая, злющая, глазки кругленькие, как у мышки, – ничто, бывало, от них не скроешь, за всем уследит.

Крутиться мне тогда приходилось цельными днями. Бывало, пот с носа некогда утереть. То с Настенькой нянчусь, то по дому, то коров обряжаю, то свиной кормлю, да мало ли дел по хозяйству. А Петр придет и еще ревность какую-то показывает. Ну и крикну Федьку: к тебе,

мол, Петр пришел, а самой прохладиться некогда – тут же и убегу. Управляться за меня никто не будет, коль нанялась.

А его это злило. Уйдет на задворки, залезет на березу и сидит там, словно сыч. Я, бывало, вся переволнуюсь: а ну как заметят? Но виду не подавала, чтоб Мордючиха чего не заподозрила.

Так оно и в тот раз было. Приехали это они из города – Федька разом ко мне. Подкараулил меня в сенях, полушалок на плечи накинул и за спину эдак берет, вроде как обнять хочет – нахальна рожа, так чего с него взять. Ну, я его и звезданула, а сама в амбар, где муку и зерно держали, – думала, спрячусь.

А тут слышу: он сзади догоняет. Заскочить только успела, а закрыться никак не смогла: засов, видать, не тем концом взяла. Кое-как его заложила и стою возле двери, ровно остолбенела. А он плечом как надавит раз да другой – она и настезь. Сгрел он меня и повалил. Придавил к кулям – мне и не дохнуть. Я давай кричать, царапаться, а он сопит и рвет все на мне. Я с испугу чуть не откусила ему пол-уха, он аж отпрыгнул и заорал. И я вскочила. Схватила пестик с полки и кричу: «Не подступай, идол мордатый! Башку проломлю!» Он озверел, видать, идет ко мне и рычит: «Будя баловать! Аль забыла, чье жрешь и чье носишь?»

В это время дверь и распахнулась. А уж когда она успела закрыться, я и не помню. Федька прет на меня с угрозами: «Мотри, посинеешь, как Марфа». Я пестик в руках сжала и прилипла в углу, ровно мое спасение в нем, а тут откуда ни возьмись в дверях Петя появился. Схватил он засов – и Федьку по голове. Тот и шагу не сделал, тут же на кули и уткнулся. Крадусь это я вдоль стены, а сама боюсь, кабы Федька за ноги не схватил, да так и прыгнула к Пете на шею.

Опосля уж опомнилась, когда в себя пришла, вытолкала его из амбара. Он на задворки побежал, а я в дом. Дело уж к вечеру клонилось. Справилась на скору руку да с тем и домой побежала. Ленька-горбун еще у ворот пиликал. А как меня увидал, гармошку сжал и заулыбался щербатым ртом. Мне оно и невдомек было, почему он играть перестал. Домой бежала от страха.

Это уж Петя мне опосля поведал, как они все подстроили. Как увидал, дескать, что Мордюковы из города приехали, – бегом на зады, залез на березу и ждал, что дальше будет. Видел, как я пробежала, Федор прошел в сапогах гармошкой, в коричневой косоворотке, белым крученым пояском подпоясанный, Мордюков что-то в дом занес. А уж как я в амбар заскочила, да еще и Федька за мной, он уж и глаз с амбара не спускал. Вижу, говорит, Федька несколько раз плечом дверь двинул – она и растворилась. Он с березы – и через огород к амбару. Только было высунулся, а тут Ленька-горбун трясется... Походка у него такая была. Дверь закрыл, черт горбатый, и ушел – заиграл за воротами. Сговор, знать, у них такой был. А тут и Петя в самый раз.

Неделю опосля Федька больным сказывался.

А я домой прибежала и дрожу, будто грех на душу взяла. В сумерках уж Мордюков к нам пришел. Я стол в горнице накрыла. Максим за самогоном к Анисье сбегал. Закрылись они там с родителем и до ночи стаканами звякали. А чуть свет он корову-то к нам и привел. Ни к чему, дескать, чужую скотину во дворе держать. Родителя моего словно подменили. Схватил он руку Мордюкова и тряс между ладонями, будто горячее яйцо. И мне наказал, чтоб я к этому голодранцу – это он Петю так называл – боле не подходила. А вечером я слыхала, что Мордюков родителю шепнул, будто у них с Петром свои счета.

Я еле утра дождалась. Одно было на уме: предупредить Петю. Как всегда, поутру я к Мордюковым направилась, а сама – тут же к Пете, чтобы упредить: мало ли грех какой, раз что-то задумали. От них все могло статься. Уйти из деревни я его уговаривала. А Петя – ни в какую, храбрость свою выказывал. Я уж его и так и эдак уговаривала, чтобы хоть ненадолго ушел к сибирякам. Он у них уже две зимы пимы катал. Так и ушла ни с чем. Улицу перехожу – глядь, родитель у ворот стоит и меня к себе манит. Завел он меня в избу да так вожжами

отходил, что я и по сей день помню. Бьет, а сам приговаривает: «Отцу перечишь, сукина дочь!» А у меня два словечка на языке: «Тянька, прости! Тянька, прости!» Или Петя видел, как меня отец домой воротил, или слышал, как я кричала? А к вечеру-то он и ушел.

Долго от него ничего не было.

Я уже скучать начала. А он все не шел. Я уже не знала, что и думать. Зима на дворе стояла. Подговорила я Максима, чтобы он к сибирякам съездил, где Петя прошлую зиму катал. И вот только тогда я успокоилась, когда он весточку привез. А вскоре и Петя вернулся. А перед этим у нас такой случай произошел.

Вечера зимой долгие. Старики – спать, а мы – к Анисье. Жила она одна – Бог детьми обидел. Мужик ее давно замерз, из города возвращаясь, когда у Мордюковых работал. Не то он с пути сбился, не то Мордюков его приколошил, чтоб деньги прикарманить, что сам же в городе после базара ему и отдал за два года работы, – кто их знает... Всяко говорили. Потом уж всем за правду казалось, когда они Федьку загубили. Вот Анисья и подлаживалась. Жить как-то надо было. Нас на посиделки пускала, самогонку про запас держала. Мужик ли с бабой поспорится, случай ли какой – все к ней. Пили в долг – ясное дело. А потом разочтутся: кто дровишек привезет из лесу, кто огород вспашет, кто сено из тайги вывезет. Так и жила. Парням на празднички по стакану самогона подносила, а нам семечки жарила. Изба у нее большая была, лавки вдоль стен, печка, такая же вот, как у меня. Она завсегда сидела за прялкой, ровно ее не касалось, что в избе творится. Девки усаживались вдоль одной стены, парни – насупротив, а сибиряки – возле окон. Приезжали они к нам на одной, а когда и на двух подводах.

В тот вечер один приехал: высокий такой, тонконосый, с кудрями. Он и раньше бывал, все на Марфу заглядывался. Девчоночкой-то она была никудышненькая, как и все Колесовы, пузатые от голодухи. Ели одну картошку с крапивой, и то впроголодь, чем попало брюхо-то набивали... А когда повзрослели, справнее стали. Позднее она такая видная деваха стала, на загляденье! Вот они все с ума и походили: и Максим, и Федька, и сибиряк этот. А как Марфушу схоронили, сибиряк перестал ездить. А зачастил опять, когда меня высмотрел. И Федька туда же. За свою уж меня, поди, принимал, раз работала у них. Пети в тот вечер не было еще. Ленька на гармошке поиграл и замолчал. Дуська Колесова, подружка моя, поплясала еще – Федьку завлекала. А он и глазом на нее не повел, все в мою сторону пялился. Тут она и взялась на меня.

Сидели это мы, семечки лужгали да друг на дружку зыркали. Тишина в избенке была: пурга шумела, снег за окошком пересыпался, лампа тускло горела, прялка у Анисьи жужжала.

Сибиряк все на меня глядел, а Федька с него глаз не спускал, пьяный потому что. Все пил да гулял – в солдаты когда собирался. Так и сидели молчком, пока Анисья не встряла со своей байкой. То как леший ее по лесу водил, начнет сказывать, то как домовою ночью к ней явился, а тут про мужика своего разговор завела.

– Было это, дескать, лет пятнадцать назад, говорила Анисья и крестилась, – баба Маня тоже осенила себя крестом. – На вторую не то на третью зиму, как сюда поселились. На рубку в тайгу ходили пеши: лошади были заморены. И случись это такой грех: все отправились домой, и я убежала – печь топить да еду готовить, а Кузьма, мужик мой, запозднился. Дерево за деревом рубил да рубил – смотрит, а уж месяц далеко ушел, в ногах поземку тянет. Он и заспешил. Идет это покойничек, царство ему небесное, – крестилась Анисья, – а сам все нет-нет да по сторонам и озирается. Подходит это он к Берди, где был зимний переезд, а ноне мост стоит, и рад-радешенек, что до дому добрался. Спускается это он к реке – глядь, а на льду какой-то человек копошится. Поддернул он шубенку, топоришко в рукав втянул и сам себя приободряет: не тужи, не плошай, дескать, Кузьма. Идет ближе, видит: мужик онучи перематывает. Слово за слово, дальше – больше, окажись он из новых переселенцев, что верст за десять от нашей деревни. Ну, эдак и пошли они. Шли ходко – мороз поджимал. Только попутчик все что-то норовил Кузьму вперед пропустить. А покойничек сам хотел в спину смотреть. И начал это

Кузьма примечать, что незнакомец все как-то боком идет. Шли это они и шли, а Зимовья все нет и нет. Кузьма уж из сил начал выбиваться – упарился. Давай-ка это он приглядываться... Места, покажись ему, незнакомые. Боязно ему что-то стало. А вдруг, думает, грех какой? И давай он глазами косить на попутчика. А у того, Господи, Пресвятая Богородица, в глазах огни дикие светятся, а со спины все ребра видать, прямо скелет скелетом.

Тут Кузьма и взмолился, крестясь: «Царица Мать Небесная, прости нас! Да что же это такое с нами деется? Господи, прости и помилуй!» И только он это проговорил, видит, что стоит один по кушак в снегу на краю согры, что за Черной речкой, верстах в трех от нашей деревни. Колени у самого дрожат, всего колотит, а из мелколосья смех злорадный доносится: «Ха-ха-ха, догадался!» У Кузьмы волосы на голове дыбом встали. Вот с той поры он и начал в стаканчик заглядывать.

– Мы как сидели, – говорила баба Маня, – так и не шелохнулись, вроде нас к лавкам приморозило. Рты разинули, прижались одна к другой и в страхе на дверь смотрим.

Парни начали закуривать, стряхивать оторопь. А Федьке не терпелось героя из себя выкачать: полноте, мол, тетка Анисья, несусветицу молоть. Может ли такое быть, чтобы живой мужик, да еще в лютый мороз, с голыми ребрами был? «Вот те крест, – взмолилась Анисья, – сущая правда. Кузьма самолично сказывал. За это его, поди, нечистый-то и доконал. А то с какой бы это стати ему в лесу опосля блукать? Чай дорога есть».

Тут все разом загалдели, ровно ожили. Гляжу я на Федьку, а самой чей-то беспокойно: больно уж нехорошими глазами он по мне шарил. Ленька заиграл. Сибиряк поднялся и пошел по кругу шелуху от семечек чесанками волочить. Остановился это он подле меня и начал при-топывать в такт гармошке, а сам эдак плечом еще и подергивает. Я чуть со стыда не сгорела. Ленька даром что горбатый, а хитрый был – тут же гармошку сжал. Играй, велел ему сибиряк. Ленька заиграл. Тогда Федька поднялся, и сошлись они с сибиряком посреди избы. Девки разом примолкли и даже семечки грызть перестали. Ну, думаю, излупит он Федьку. К слову добавлю, они нас с первых дней невзлюбили, дразнили лапотниками и синюшниками... Приехали мы в Сибирь в лаптях и в одежонке из рядна, вот они и надсмехались. Это уж они опосля к нам навевались, когда мы девками стали, – задумалась о чем-то старая женщина...

– Да, что я сказывала-то? – спросила баба Маня.

– Как Федька с сибиряком сошлись, – подсказал я.

– А... Ну так вот. Ни один уступать не хотел. А тут еще Максим к ним подскочил. Спасибо Анисье, царство ей небесное, из-за прялки выскочила и растолкала их по углам. А сибиряка взяла да и вывела: дескать, у нас своих женихов хватает. Сибиряк аж побелел, но словечка грубого не сказал. Взял тулуп и на ходу проворчал: «Язви вам душу». Мы посидели и вскорости разошлись. А через несколько деньков, в канун Крещения – кажись, уже Петя на праздник пришел – утром приехал тот сибиряк на черном жеребце и прокричал Мордюкову, что ежели десять мужиков не приедут завтра поутру к зимнему переезду, то они излупят парней на глазах у всей деревни. Вот так все обернулось. Вот как глазки-то строить! Откуда это было знать. Вечером мужики сошлись у Анисьи и порешили: надо ехать.

Утром чуть свет – печи еще не затапливали в домах – прибежала Анисья. Выманила меня в сени и сообщила, что было говорено мужиками. Я шубенку на плечи – и к Дуське Колесовой: давай, мол, запрягай свою лошаденку, и поедем вслед. А у самой душа болит: мало ли что стряется. Как только мужики наши уехали, и мы за ними.

Утро было с синевой. Мороз ночью крепкий стоял – все окуржевело. Лошаденка наша враз побелела. От саней такой скрип пошел, что у нас с Дуськой зубы аж заломило. Она сидела на передке – правила. Увидела, что свежий след к Берди пошел, и сама туда же свернула. И меня под бок тычет, когда уж в низок спустились. Видим: пара мордюковских лошадей стоит – овес в торбах жуют. На их спинах одежонка мужиков наброшена. А наши уже на середине реки

– с сибиряками схватились. Какие-то трое еще в стороне стоят – это, видать, лишние приехали. Тоже, знать, по совести дрались – чтоб один на один.

Солнце уже от земли оторвалось, синеву чуть-чуть разогнало. Но видно еще плоховато было. Дрались не на одном месте, а петляли: кто отбежит, кто наскочит, а кто и навзничь летит. Снег на середине реки весь перемесили, рубахи исподние разодраны: у кого в крови, у кого ключьями болтались.

Я за Петей да за родителем все больше приглядывала, а Дуська – за Митрием да за Федькой. Надо же, втюрилась в паразита мордатого, как Марфуша. Так мы и лезли по глубокому снегу за ними вдоль берега: то вскрикнем, то ойкнем, то глаза зажмурим – жуть ведь одна, как дрались. Не углядеть было за всеми – растянулись по льду сажен на двадцать. И вдруг родитель мой благим матом заорал, какого я отродясь не слыхивала, аж сердце зашлось. А он опять на всю-то реку: «Максим!!!»

Не помню уж, как я с кручи летела, снег аж до горла набился под шубенку. Слышу, и Дуська за мной пыхтит. Подлетаем это мы к ним, у меня аж дух захватило – словечко вымолвить не могу. Все стоят, а родитель мой у проруби сидит и кусочки льда со снегом из воды выбрасывает. Я тут же на колени – и давай помогать сдуру-то. Вода в проруби еще колыхалась, и белый парок шел. И такая шальная мысль меня кольнула, что аж дурно стало. Подняла я ошалелые глаза на мужиков. Петю ищу, а они все, избитые до крови, стоят понуро один возле другого, ровно и драки не было, только плечи вздымаются. Не успела я еще и дух перевести, меня как чем обдало – я от испуга так тут и села. Из проруби Петина голова вынырнула. Он красную руку на лед выбросил, голову откинул и обмяк – не отдышится. От радости я хотела к нему кинуться, но меня тут же за косы оттащили. Мужики вмиг выхватили его и Максима из проруби. Дуська уж меня подняла. Так мы и простояли в сторонке, пока сибиряки Максима откачивали да Петю растирали. Сибиряк тонконосый жеребца подогнал, тулупы в розвальнях раскинул, закутал в них Петю и Максима и погнал в деревню.

Под вечер сибиряки к нам понаехали. Да еще знахарку какую-то привезли с собой. Она все Максима отварами поила да терла, пока ему уже и рвать нечем стало. Три дня они у нас гуляли. Огромную свиную тушу привезли да самогона несколько четвертей. Я уж готовить им устала. А на четвертый день и Максим поднялся, вместе с ними гулял.

Петю все больно хвалили: «Кабы не Петр, плохо бы дело было, паря». Тут уж и родитель мой смягчился: обнимал его, целовал, вторым сыном называл... Слава Богу, думала, признал, знать. Столько уж радости у меня было – не передать.

– А как они в проруби оказались? – спросил я.

– Сибиряки лошадей поили на переезде, вот прорубь и расчистили. Они не думали, что сюда драка докатится. Это уж Петя мне опосля обсказал. Максим не очень любил вспоминать. Подъезжаем, говорил, это мы к реке, видим: на другом берегу лошади, внизу сибиряки в тулупах. Поджидали, знать. Не то робость, говорил, не то волнительность какая нашла – жмемся в кучку. Ну а как увидели, что сибиряки тулупы скинули и на середину реки пошли, где что-то черное лежало – не то шуба, не то еще что, так и мы двинулись. Отец наш, мол, впереди, Максим к нему плечом, а он к Максиму, с другой стороны – Мордюков с Федькой да Столбов с Иваном, а за ними – Колесов с Митрием. Иду, говорил, и глаз от сибиряков оторвать не могу, а самому чей-то беспокойно – плечом так Максима и тычу. Отец, дескать, еще сказал: «Не робей, робята!»

И пошел, поторапливаясь, и мы за ним, а в ногах уж и удержу нет – чуть не в пробежку идем. Вижу, говорил, прямо на меня прет широкоплечий сибиряк и странно как-то эдак согнутые в локтях руки выворачивает. Только, мол, я и разглядел на его широкоскулом лице одну рыжую бровь от виска до виска, а он тут же раскрыл большой красный рот да как заорет: «Лупи синюшников! Язви их душу!» И во мне, мол, столько зла поднялось, что я и себя не помню. Схватились это мы с ним, а он как швырнет меня, так я и отлетел. Вскочил и тут же опять на

него кинулся. Бил он меня, швырял, пока мочи у него хватило. Вижу, сказывал, у него только одну рыжую бровь, а сам на него все кидаюсь и кидаюсь. И почуял я, что он уставать начал. Тут я изловчился и что было мочи ударил ему под грудь. Он аж согнулся от боли, но успел схватить меня, и вместе упали на лед.

Вот тут, мол, я и услышал крик родителя. Екнуло, говорил, в груди – смекнул, что беда стряслась, подтянул ноги и отшвырнул сибиряка. А как вскочил да увидал, что все у проруби собрались, враз догадался. Вдохнул грудью – и вниз головой между мужиками в прорубь, пока Максима течением не отнесло. Обожгло, мол, как кипятком, аж глаза резануло. У самой проруби еще чуток видать, поблизости – мол, всматриваться пришлось, как в ненастную ночь, а уж подальше – сплошная темень. Вижу, мол, как из ночи в темень не то бревно, не то рыба какая шевельнулась. Он три маха вгорячах – и прямо на ощупь успел схватить. Вот ведь беда какая... Это еще счастье наше, что они мальчишками наловчились из глубины в обруч выныривать...

– Кабы не этот случай, родитель бы век не признал Петю. Жили они с матерью бедненько. Отец у него еще в казенном бараке для переселенцев поблизости от Новониколаевска помер, пока мужики место для деревни подыскивали. Известное дело, какое хозяйство у одинокой женщины на новом месте могло быть? Так она и жила – все чего-нибудь у мужиков попросайничала. От этого, видать, родитель мой и невзлюбил их. Этот дом уж я с Максимом поставила, – оглядела баба Маня потолок. – Правда, лес еще Петя заготовливал... Да, где-то тут же, как праздники прошли, Федьку в солдаты и забрали. Посмотрели они еще друг на дружку, ровно зверье, и разошлись.

Потом Петя в дом к нам похаживать стал, и на улице, бывало, постоим – не таились. А о свадьбе родитель мой, Тимофей Степанович, царство ему небесное, и думать не желал. Петя иногда к нам придет, со мной постоит, с Максимом посидит, а как родитель в дом, он к порогу. Родитель сядет на лавку и смотрит на него, а он стоит шапку мнет. «Ну, – скажет Тимофей Степанович, – че топчешься, как петух на насесте? Рано еще ей... Пущай поневестится». Петя и уйдет. И я тут же нараспеюсь, а уж ночью ревом реву: обидно. Вроде и не маленькая была, чтоб так помыкать. Видать, он признать-то его признал, но только не женихом. А уж к весне где-то Максим надоел ему своими попреками: Петр, мол, меня с того света вызволил, а ты, тятя, поперек пути их стоишь. Родителя, видать, и самого совесть мучила, но держало что-то. А уж как отсеялись, он махнул рукой и больше не встречал: ваше, мол, дело. Свадьбу справлю, а там живите как Бог даст.

Так вот мы и поженились. Перебралась я к ним в дом, и стали мы жить. Но счастье мое было уж больно недолгим: только сено в стога сметали, забрали моего Петю на германску, и Максима забрали, и Митрия, брата Дуськиного.

– Это с тех пор вы и ждали? – с удивлением спросил я.

– С тех самых, сынок, – закивала баба Маня, глядя в лунное окно. – Кажон день ждала и все думала, что уж ежелив сегодня нет, то назавтра непременно прибудет. Попервости, пока его годки не приходили, так и я вроде поспокойней была. А когда Митрий воротился (это где-то весной, кажись, было – в ту пору вроде царя скинули), я уж и от окна не отходила. А как Максим пришел, правда без руки, так я уж тут и вовсе покой потеряла: иначе как бегом домой и не шла – терпения не хватало. Двор осмотрю – не сидит ли где, не ждет ли меня, в избу прилечу – не прячется ли, да еще и у свекрови-то спрошу, вроде сама не вижу. А вечером помолюсь, и ночь мне не нужна – скорей бы утро. Вскочу чуть свет – и на улицу: не сидит ли там, не пришел ли. Будить, пожалуй, не захотел. Так вот и прождала, – вздохнула баба Маня.

– Да, – посочувствовал я. – Из проруби вынырнул, а тут не вернулся. Судьба, наверное, баба Маня.

– Как вздумаешь, так и называй, сынок... Домой-то многие поприходили, а жизнь свою тоже не уберegli. Помню, как Митрий Колесов в деревню вернулся: в папахе, шинели – такой, куда там! Все мужиков да баб на Мордюкова науськивал. Где бы ни собрались, его одного

только и слышать. На чурку или на бревно заскочит – и давай руками размахивать. Хватит, мол, мироеда терпеть. Это он Мордюкова так называл. Не сам же, поди, эдакое придумал, небось, взял где. Везде, мол, народ свою власть налаживает, и нам дремать не надо. Уж много позднее мы всякого наслушались – вроде как так и должно быть, а тогда все в диковинку было. Стоим, бывало, вокруг него или сидим, а он знай свое: скотину, дескать, у Мордюкова отымать пора. Вон сколько у него! А сам этак рукой еще и махнет в сторону его дома. И мы сдуру головами-то вертим, будто не знаем, где Мордюков живет. Оставим, мол, ему две коровы да лошадь, а остальных по дворам разведем. Мужики друг на дружку смотрят и понять не могут, как можно чужую скотину со двора вести. А родитель мой, бывало, еще совестить его начнет: негоже, мол, эдак, Митрий, не хошь – не роби, а пошто на чужо хозяйство руку подымашь? Эдак мы один у другого все растащим. А бабы, оно и есть бабы: у них глаза тут же засверкают, как про мордюковских коров начнут шептаться. Открыто только не говорили: боязно, все опасались. Одна Анисья, царство ей небесное, поддакивала, бесшабашная головушка, не терпелось ей корову от Мордюкова привести. Подскочит петушком к Митрию и кричит звонче всех: «Какого лешего ждать?!» Да еще с Ленькой переругиваться начнет. Тот исподлобья эдак поглядит да и скажет: «Не зарься на чужо добро». А она ему тут же и утрет нос-то: «Уж не твоим ли горбом добро нажито?» Дальше – больше, народишко все смелей и смелей стал. Мордюков побаиваться уже начал. А мать – она и есть мать, уговаривала Митрия как могла: «Не мутит бы ты, сынок, царевы порядки. Загодя не узнаешь, как жить придется». А Митрию своего ума хватало, материн совет, видать, лишний был. Недаром говорят, что материнское сердце беду чует, как больной непогоду.

Не получилась у Митрия народная власть. Вскоре после Пасхи в деревню приехали казаки. Большевика какого-то искали, а его в глаза никто не видал. Митрия вот и забрали. Ленька-горбун их к нему привел. Митрий телегу чинил – с утра стучал. Это уже Анисья оповещала – дворы у них по соседству. Вроде как побледнел он, казаков когда увидал. Офицер его будто бы спросил еще: что, мол, в Екатеринбурге служил? Митрий вроде чуток замешкался. А уж служил, так служил – правду не утаишь. А царя, мол, арестовывал? «Нет, – вроде бы Дмитрий ему ответил. – Слыхал, но не видал». Вот тогда офицер и спросил: «Чего народ мутить?» Митрий и слова не сумел сказать, как казаки руки ему скрутили и веревку на шею накиннули. Отвели его к Берди и повесили ни за что ни про что.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.